№41 (1066) 09.06—15.06.2005 г.
НОВАЯ ГАЗЕТА

Антология Евг. Евтушенко «В начале было слово»

Семен ГУДЗЕНКО

1922 год, Киев – 1953, Москва

«Моя провинция — война»

«Фронтовики в карманах гимнастерок носят странные вещи. Немецкие губные гармошки, трубки, офицерские нашивки или кусочки свинца, вынутые из собственных ран ловкими руками хирурга. Это не талисманы. Это вещи, которые, как искры, воспламеняют память. И начинаются долгие правдивые истории».

Летописцем, спасшим в своих армейских записных книжках много таких «правдивых историй», хотя это трагически... по сравнению с тем, чего он не успел написать, был киевлянин, украинский еврей, русский поэт Семен Гудзенко. Сарик, как его ласково называли друзья. В 21 год прямо с ифлийской скамьи он ушел добровольцем в мотострелковый батальон, чтобы конечно же воевать за СССР вместе с тенистыми каштанами Киева, голубыми елями Красной площади, и за Пушкина, и Шевченко, и за Шостаковича.

Смогут ли когда-нибудь будущие Киев, Одесса, Харьков так же щедро дарить русской литературе столько талантливых прозаиков и поэтов — от Ахматовой до Чичибабина, как это было и при царской империи, и в совсем недавние времена Советского Союза?

На Украине, чей стольный град Киев был первой колыбелью Руси, параллельное существование русского и украинского языков было естественным и взаимно обогащало их до той поры, пока советская бюрократия, как всегда топорно, а иногда и напрямую — топором не взялась «руководить» этим процессом. Но не дай бог, если неразумно возобладает ответная мстительность по отношению к русскому языку, в этом «топоризме» неповинному, на котором и сам Тарас Григорьевич не чурался писать стихи. Независимость государств не должна разрушать драгоценное взаимовлияние культур во всем контексте. И не дай бог, если мы перестанем ощущать тех, кто пал на поле битвы с фашизмом, *нашими общими* героями, а если это были поэты — *нашими общими* поэтами.

Довоенного себя Гудзенко описал в замысле будущего романа: «Провинциал в ковбойке и широких парусиновых брюках. Рукава закатаны выше локтя, обнажены крепкие загорелые руки. Он приехал в Москву из теплого зеленого города Киева. Он мечтает быть поэтом».

От просто «мечтать» он начинает «быть». «Мудрость приходит к человеку с плечами, натертыми винтовочным ремнем, с ногами, сбитыми в походах, с обмороженными руками, с обветренным лицом...».

Весьма любопытно, как меняется тональность записей Гудзенко после доставшейся ему из первых рук истории о патефоне, до которой всех немцев он поголовно с презрением называл «гансами», а после нее ни разу так не назвал: «Интернационал». «Шесть немцев жили в одной избе. Трое уехали. Трое пришли. Велели хозяйке закрыть плотно окно и двери: «Давай патефон». «Ну, погибла», — подумала старушка. Завели громко пластинку. Они сели вокруг стола, вынули листочки бумаги и запели «Интернационал». Пропели весь. Один пожилой прослезился. Встали и ушли. Она их больше не видела».

Однако вот, например, одна запись, при которой я тяжело вздохнул: она мне напомнила меня самого в сталинские годы, молодого и порой такого криво спрямленного, что можно было никогда не разогнуться. «Шершунов — великолепный парень. Тоже ифлиец, но без червоточинки богемы и интеллигенции».

Вот так воспитывали тогдашних юношей — не такое уж самое плохое слово «богема» и благородное слово «интеллигенция» прямо подверстаны к слову «червоточинка».

Семену Гудзенко, смилостивясь, война дала еще восемь лет жизни после ее конца и догнала его в год смерти Сталина. Какие бы стихи он написал о Сталине после его смерти, можно только гадать. Но все-таки это имя ни разу не промелькнуло в его первой, пожалуй, лучшей книге «Однополчане», хотя в те годы это было редкостью. Илья Эренбург в 1943 году высоко оценил и даже переоценил возможности Гудзенко: «Он принадлежит к поколению, которое мы еще не знаем, книг которого мы не читали, но которое будет играть не только в искусстве, но и жизни решающую роль после войны».

Эренбург, почему-то до сих пор принимаемый многими за циника, на самом деле был все еще интербригадовским идеалистом и переоценил Гудзенко и в целом его поколение, потому что недооценил мрачную силу Сталина. Сталин ни за что не мог бы позволить, чтобы расправившие плечи молодые победители стали хозяевами в своей стране. Какие же чувства могли испытать те евреи, которые сражались за победу так же беззаветно, как Семен Гудзенко? Они не верили собственным ушам, слушая радио, собственным глазам, читая газеты, но, когда убили Михоэлса и стали одного за другим сажать еврейскую интеллигенцию, незаслуженность жестокой обиды уступила место тайному животному страху не просто за себя, а за своих близких.

Война оказалась самым счастливым временем в жизни этого поколения поэтов, ибо это были редкие годы, когда внутренний патриотизм слился с государственным. Но мог ли совсем еще молодой Гудзенко, даже женившись на дочке генерала армии Жадова, чувствовать себя в безопасности, если сам его опекун-защитник Илья Эренбург был под угрозой ареста? В то время, когда шельмовали Зощенко, которым Гудзенко с таким наслаждением, по собственному признанию, зачитывался в госпитале, он и пикнуть не мог в его защиту — его бы в порошок стерли. Ужас был в том, что бывших героев делали трусами. В этом — отвратительность отношения к героям войны после войны.

Стихи Гудзенко и многих его фронтовых товарищей поскучнели, потеряли задор, горький вкус правды, стали «командировочными». Но, умирая от старых ран, он написал вырвавшиеся из глубины сердца настоящие стихи: «Жизнь мою спасали среди ночи в белом, как десантники, врачи». Он был, пожалуй, самым красивым поэтом, которого я видел в живых: чернобровый, с брызжущими жизнью карими глазами. Не верилось, что такой человек может вот-вот умереть. А он это знал, и многие тоже. Последний раз я видел его на стадионе «Динамо», в буклешной с искорками кепке, какие носили тогда мои любимые футболисты. Он негодовал вместе со всеми на судью, восторженно вскакивал с бетонной скамьи, и я заметил под его габардиновым плащом синие тренировочные брюки и спортивные кеды. Может быть, он сбежал на футбол из больницы?

Он заметил меня, узнал, хотя видел меня до этого только один раз, на ходу в ЦДЛе, да мало того что узнал, еще и процитировал мне мое четверостишие: От аллей Самотеки/ к своему переулку/ он в людской суматохе/ совершает прогулку..

«Самотеки-суматохи... Какая рифмочка-то, а!» — И лукаво, очень по-украински подмигнул мне... Он так и смотрит на меня до сих пор — с этим улыбчивым подмигом, хотя в глубине глаз таится грустинка — предчувствие, что война неумолимо догоняет его и не позволит ему самому осуществиться как поэту настолько, как это обещали его первые фронтовые стихи. ●

* * *

У каждого солдата есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту нанесенная одна,
суровая моя и откровенная
далекая провинция — война.

1947

Перед атакой

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год —
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей я кровь чужую.

1942

* * *

Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.

Но если снова воевать...
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

1946

* * *

Мы не от старости умрем —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

В нем горечь, хмель и аромат
заморской стороны.
Его принес сюда солдат,
вернувшийся с войны.

Он видел столько городов!
Старинных городов!
Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?..
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то сапогом стучит.

А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там...

1946

* * *

На снегу белизны госпитальной
умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка,
в городе дальнем,
о своем ненаглядном, о милом не плачь.

Наклонились над ним два сапера
с бинтами,
и шершавые руки коснулись плеча.
Только птицы кричат в тишине
за холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

Это он их лечил в полевом медсанбате,
по ночам приходил, говорил о тебе,
о военной судьбе, о соседней палате
и опять о... военной судьбе.

Ты не плачь о нем, девушка,
в городе дальнем,
о своем ненаглядном, о милом не плачь.
...Одного человека не спас военврач —
он лежит на снегу белизны
госпитальной.

1945

Евг. ЕВТУШЕНКО

Разговор в окопе (по воспоминаниям фронтовика):

«Слышь, дай на самокрутку мне газетку...»
«Да ты не трожь...
Ее тебе не дам...
Ты почитал бы нашего Гудзенку...
Я жертвую ему мои сто грамм...»

Специально для «Новой»